



ВАЛЕНТИН РАСПУТИН



С МЕСТА ВЕЧНОГО ХРАНЕНИЯ

Четверть века миновало с того дня, как накануне своего 35-летия не стало Александра Вампилова. Четверть века, в которую в России уместились по крайней мере три эпохи и «близ дверей» стоит четвертая, еще загадочная, но, судя по тому, из чего, из каких бурь и изломов она рождается, не способная быть утешительной. Уже после Вампилова наступил «застой» — никуда не деться, это действительно было болезненное, кризисное существование, когда идеологическое талдыченье закупорило кровотоки между властью и народом. Выбираться из этого опасного состояния следовало и умно, и осторожно, и смело, а принялись выходить хуже некуда — позволили скопившимся ядовитым газам вышибить все

пробки и сделаться общественной атмосферой. Эта эпоха в пять-шесть лет просится назваться «угарной» — по невиданному помрачению умов, с каким-то бешеным восторгом отказавшихся от здравого смысла и даже от инстинкта самосохранения. Вот тогда и кинулись к власти бесноватые, для которых не бывает ни Отечества, ни традиций, ни меры в своем разрушительном шабаше. Третья эпоха, продолжающаяся и поныне, есть не что иное, как попытка убиения России как государства и народа: Россия унижена, огажена, разбазарена, исчужена и оголожена и стоит пока только землей, которую отпустил ей Господь.

За 25 лет, а если точнее, то даже за десять, поменялось буквально все. Мало

* Этот текст писался Валентином Распутиным по заказу московского издательства «Согласие» для однотомника «Избранное» Александра Вампилова в 1997 году. Однако, когда книга вышла, статья в ней без всякого согласования с автором была значительно сокращена и исправлена. У либерального издательства оказались свои вкусы, свое понимание Вампилова и своя цензура, более бесцеремонная, чем это случалось при Советах: с чем боролись, на то и напоролись. Поэтому редакция нашего журнала считает возможным напечатать статью В. Распутин в полном виде, обращая по своему обыкновению к А. Вампилову не только в юбилейные годы, а постоянно.

того, что поменялось, в такой вошло раж перемен, что «лишнее» отменили вовсе. Помехой оказались вечные человеческие идеалы, мораль, культура, в том числе литература. Все, что осталось от них, доживает старыми соками, не получающими восполнения. Окончательно их не изгоняют лишь потому, что рассчитывают на естественное вымирание вместе со стариками. Вкусы огрубели, по слову Вампилова, «одичали». «Дичает» все: от любви и совести, которые превращены в плетельницы, до печатного русского слова, которое любят окунать в непотребство, до всего, куда ни кинь. «Отсталой» России дано странное «ускорение» — выскочить из себя.

В первую очередь изменился человек, даже внешне. Всегда будут споры, всегда найдутся люди, выигравшие от перемен, которые станут уверять, что «стало лучше». Самый беспристрастный свидетель — человеческое лицо в толпе, на улице, лицо общего выражения и какого-то общего перекроя. Замкнутость объяснима: с разделением населения на богатых и бедных замкнутость лиц у одних от безысходности, у вторых от высокомерия: открытое лицо, блистающее радостью, которую непременно надо донести, не расплескав ни капли, до цели, лицо, ищущее родственности и дружеского общения, или утешения, или короткого приветного луча — ныне их почти не встретишь. Не встретишь ни в Москве, а ее Александр Вампилов знал и любил, ни в родном ему Иркутске, ни даже, думаю, на «малой» родине, где он вырос и которой года за два до смерти посвятил очерк «Прогулки по Кутулику». Лица настороженные, отчужденные, потерянные, больные от боли, пропитавшей сам воздух: глаза, если это не рыскающие глаза, обращены в себя. Все еще живы, должно быть, вампиловские и Сарафановы из «Старшего сына» (но он забыл давно о своей оратории «Все люди — братья») и Валентина из «Прошлым летом в Чулимске» (только нет нужды ей восстанавливать палисадник по пути в чайную, потому что чулимскую чайную давно прибрал к рукам какой-нибудь кавказец с пламенным лицом и обнес ее каменной стеной). Валентину или Сарафанова можно еще узнать по лицам, замученным и всепрощающим, доброта не сошла с них,

однако, по ней они смотрятся теперь в России чужаками. Но никогда, никогда им не поверить, что так поспешно и бесславно может направиться человеческий путь в никуда, в бессмысленное влечение по жизни. При встрече они узнают друга друга и с виноватой улыбкой кивают. Сарафанов может спросить по своей святой простоте: «За кого голосовали?» — он интересуется политикой, продолжает верить, что от последней беды удастся избавиться голосами. Надежда Валентины выше, спокойней, в ее терпеливую женскую душу бесшумным родничком наплескивается природное, несовместимое с лукавыми демократиями, — вера в то, что такое большое и великое, как Родина ее, такое сильное, проросшее глубоко в землю, поднявшееся в небо, нельзя так просто взять ни силой, ни обманом, а видимостью скорой и полной победы лишь подтверждает, что этого быть не может. В десять лет взять Россию — да это все равно что спустить Ледовитый океан. Куда вы его спустите, чтобы не захлебнуться, не утонуть?! Убежденность Валентины не рассудочная, не подсчитанная перевесом в ее пользу и даже не высмотренная вокруг наблюдательными глазами, — Валентина родилась с нею, как девочка рождается с инстинктом материнства, и ощущает ее в себе органически. Нет нужды восстанавливать теперь палисадник перед чайной, но ломают сегодня гораздо большее, топчут гораздо более ценное, и она беспрестанно, изо дня в день, из месяца в месяц, не жалуясь, не возмущаясь и не хвалясь, отвечая потребности человеческой души, заделывает и заделывает, не опуская рук, проломы.

Жив-здоров, конечно, и Наконечников из последней неоконченной пьесы, как помните, парикмахер, кинувшийся искать счастья в драматургии. Не видать бы ему на новом поприще ни шиша, сломал бы недоступным ему занятием Наконечников жизнь и себе, и своей семье, поистер бы без всякого успеха театральные пороги и поистерся в зависти сам, как вдруг вместе с новой эпохой грянуло и новое искусство. Наконечников тут как тут. Не понадобилась для пьес и та грамота, которой учил его заезжий эстражник Эдуардов: «Справа пиши, кто говорит, слева — что говорит». Говорить

стало не обязательно, пошлость, грубость, цинизм, издевательство, бесстыдство имеют свой язык междометий и жестов. На сцену вырвалась жизнь ночных каба-ре и грязных пивнушек: актеры, имев-шие имена, принялись старательно их замазывать. Известно: каковы пьесы — таковы и актеры, профессия лицедей-ства как-то быстро их преобразует во что попало. Вампилов последней пьесой точно предвидел: вот кто сменит его в театре. Сменит его Наконечников, по ве-лению эпохи ловко постигший мастер-ство, как брать свежего зрителя за чув-ствительные места. Два-три года, а мож-ет, все три-четыре, «творения» Наконеч-никова будут иметь исполнение, будут иметь даже некоторый успех среди пуб-лики особого сорта, правда, не достиг-ший скандального, вождельного автором, потому что в это сплошь скандальное вре-мя мало и на уши встать, чтобы пере-плюнуть соперников. Наконечников не станет знаменитым, имя его походит-по-ходит среди любителей острых ощу-щений да и завянет: до последнего пас-кудства Наконечникову не даст дойти его деревенское происхождение.

Надо отдать должное Наконечникову: они же, природные корешки, подскажут ему, что искусство можно оттеснить груп-повым мнением, какой-нибудь новой ма-шиной, вырабатывающей удовольствия, можно под это удовольствие сдавать под-мостки театров и страницы книг, но от-менить искусство нельзя. Потому и бес-нуются в беспокойстве и страхе в чужом доме гонители его, потому и торопятся загадить и обезобразить дом, что не мо-гут не чувствовать: спокойным судьей оно стоит рядом, метя каналы, и соби-рает силы для возвращения. Искусство только гонят революционно, по-разбой-ничьи, возвращается же оно всегда спо-койно, по-хозяйски берясь за уборку. В обществе раздается неслышный хор осиротевших душ, исподволь меняется то-нальность жизни, меняется даже шаг, ко-торым ступают люди, и все отчетливее, все очевиднее проступают безобразные черты самозванства. Вглядевшись од-нажды в поредевший зал, который при-дет на его пьесу, Наконечников вдруг ус-лышит колокольчик особого звона и пой-мет, что все они в театре чужие — и зрители, и он, и актеры, игравшие его

несусветную чушь. «Надо уходить» — ре-шит он и на следующий же день отпра-вится искать место то ли импрессарию, то ли администратора. Он нашкодил в сравнении с другими меньше, и место ему дадут, только если не скроет он свое русское происхождение, не самого ад-министратора, а зама. Когда вернется в театр Вампилов, Наконечников бросится встречать его с распростертыми объ-ятиями и будет отчасти искренен: дур-ное дело к душевному спокойствию не располагает.

Уже сегодня можно с уверенностью говорить, что Вампилов возвращается в театр. «Возвращается» нуждается в уточ-нении. Были театры, которые и среди погрома, устроенного искусству, не отка-зывались от Вампилова, прекрасно по-нимая, что без него, без Розова из со-временников, без Островского, Сухово-Кобылина, Чехова, Горького театр поко-сится так, что потом потребуются деся-тилетия, чтобы выправить. В эти «окаян-ные дни», составляющие настоящее, ре-пертуар никто не насаждал, каждый ста-вил что хотел. Никто не насаждал, кроме общественного вкуса, а оно было катего-ричней, чем резолюции старого мини-стерства. Никто не заставлял драматур-гов писать гадости, никто силой не раз-девал актеров перед выходом на сцену донага, но попробуй не раздеться, попро-буй без изгаживания, если — принято, если Ульянов, Лавров и Мордюкова, на-родные и любимые, вместе с Захаро-вым и Виктюком говорят: надо! Кому ох-та прослыть отсталым и нецивилизован-ным. «Кто там шагает правой?!» И — быстренько подбирать шаг, еще быст-рее, чем в гулаговской колонне.

Вампилова ставили, но мало, и он сам чувствовал себя неуютно на сводной афи-ше в пестрой и чаще разнузданной ком-пании. Он должен был страдать еще больше, чем если бы не ставили, когда в его замысел вмешивался режиссерский умысел, уничтожавший пьесу. Всякое бы-вало и бывает еще на Руси, потерявшей свое лицо.

Надо и еще в одном оговориться: ста-вить так, как в десятилетие после смер-ти — «пожаром» по всей России, «искра-ми» едва ли не по всему миру, Вампило-ва никогда уже не будут. Он вошел в тот строгий и неизменный ряд авторов, на

которых мода не посягает и которые вместе составляют самое мощное и надежное укрепление в ценностном порядке Родины. В нашем литературном ландшафте они представляют горную часть, до них нужно подняться, чтобы пригласить в театр или книгу, иметь для подъема талант и силы, чистые помыслы и некое неразгаданное соответствие им, высящимся впереди, некую духовную дружественность; они спускаться вниз на развязные приятельские оклики не будут.

Александр Вампилов в этом горном пейзаже новое образование, не ставшее монументальным, все еще сохраняющее тепло нашей совместной жизни и трудов на земле. Но по окончательности судьбы, по совершенству оставленного им звука и по признанию живых и вечных, физически и духовно далеко отодвинувшийся от нас. К нему теперь следует обращаться как к авторитету, сделавшему там, в надмирности, какие-то важные дополнения в своих сочинениях. Все слова на месте, а смысловая нагрузка уточнилась, главное проступило крупным шрифтом и нуждается в новом чтении.

Все написанное им надо принимать теперь **оттуда**: четверть века — срок более чем достаточный, чтобы определилось заслуженное им место. **Оттуда** — с места вечного хранения, где слово, точно пройдя специальную обработку, не ветшает и от прикосновения к нему излучает таинственный, звенящий свет.

А между тем слово самое обыкновенное. Это тайна Вампилова: почему его обыкновенность так необыкновенна? Он весь обыкновенен — и в слове, в котором не чувствуется усилий, точно оно само растет, и в свободном, без напряжения, ходе мысли, и в выводах ее, и в галерее героев, каких-то все потертых на свой манер провинцией, без больших запросов и большого воодушевления. Комедии требовали стечения необыкновенных обстоятельств, анекдотических историй, но и они как бы из второго ряда. Уже было, и не однажды, что герой выдает себя за другого, как Бусыгин в

«Старшем сыне», или его принимают за другого, как Потапова в «Истории с метранпажем». Не знаю, было ли что-нибудь похожее на историю из «Двадцати минут с ангелом», когда на крик из окна гостиницы в улицу дать денег, деньги незамедлительно приносят, но по ощущениям и этот случай недалеко находился. Вампилова мало беспокоило, было или не было, далеко или недалеко лежит то, что он брал за сюжетную очерченность, он извлекал из него другие корни. Он словно бы нарочито брал похожесть, чтобы быть совершенно непохожим.

Он мог одни и те же фразы, очень заметные (к примеру, «это вопрос обоюдострый»), вручать разным героям, правда, сходственным по характеру, имеющим право на их произношение, пожилые женщины с тяжелой судьбой (Хороших в «Прошлым летом в Чулимске», Васюта в «Двадцати минутах с ангелом») носят у него имя Анна Васильевна, соответственное характерам и судьбам, но ведь можно было найти и еще одно соответственное... У Вампилова нет ни одного случайного имени, его герои живут под именами как под генетической крышей (о Зилове направшивается целый трактат, почему он Зилов, а не кто другой), поэтому по забывчивости Анна Васильевна явиться не могла. Просто слепился человек во плоти и крови, и тут же к нему по фигуре слетело имя, а автор мешать не стал. Пушкин в «Онегине» объяснился по этому поводу:

...Пришел Евгений молодой...
Мы будем нашего героя
Звать этим именем. Оно
Звучит приятно; с ним давно
Мое перо к тому же дружно.

Но обыкновенное, не производящее «ударного», мгновенного впечатления, не есть у Вампилова недостаточное, элементарное, не берущее за душу. За душу-то как раз берет, но не порывом, а какой-то сладкой мукой, напиваясь постепенно, с мягким эстетическим колдовством. Обыкновенное у него — свойственное, соразмерное таланту и вкусу, выстроенное незатейливо и красиво. И вот вы входите в эту комнату, называемую пьесой, — ничего удивительного, но отчего так

уютно и аккуратно в ней, если даже только что здесь били посуду и трясли друг друга за грудки? Отчего не хочется уходить из семьи Сарафановых, отчего чулимская чайная, где разбиты, можно сказать, все сердца, каким-то чудом приносит утешение, почему жаль расставаться и с Зиловым, все сделавшим для того, чтобы от него в страхе бежать? Почему? Где то потайное, волшебное окно, в которое наносит облегчающий свет?

Да, конечно, в комнате рядом с другими, составляющими окружение, живут или Валентина, или Ирина, приехавшая в город из тех же заповедных мест, где находится Чулимск, или Сарафанов, или агроном Хомутов, добрейшие души, и тоже незатейливые, наивные, бесхитростные, по малому числу своему словно бы отставшие от какого-то другого мира, который не состоялся, заблудившиеся среди нас... Но нет — они-то и есть центр всего происходящего, они-то и есть хозяйва комнаты. Напрасно Зилов кричит об Ирине, уязвленный, пожалуй, даже испуганный твердой ее чистотой, нарушающей новый нравственный порядок жизни: «Она такая же дрянь, точно такая же. А нет — так будет дрянью» — не будет. Эти люди, которых мы за редкую самосбереженность готовы принимать за юридических, составляются особыми частицами, подобно тому, как в природе рождаются драгоценные минералы. В теперешней литературе принято насмехаться над ними, брать в герои только для того, чтобы показать полную их несостоятельность, но для Вампилова они — удерживающее начало жизни, и он пишет их, любясь, радуясь им, относясь к ним с нежностью и необыкновенным почитанием. Чтобы дать героям такой свет, нужно и самому быть освещенным.

— Зачем ты это делаешь? — спрашивает Валентину Шаманов («Прошлым летом в Чулимске»).

Валентина. Вы про палисадник? Зачем я его чиню?

Шаманов. Да, зачем?

Валентина. Я чиню палисадник для того, чтобы он был целый.

Шаманов. А мне кажется, что ты чинишь палисадник для того, чтобы его ломали.

Валентина. Я чиню его, чтобы он был целый.

Шаманов. Зачем, Валентина? Стоит кому-нибудь пройти и...

Валентина. И пускай. Я почию его снова.

«Зачем ты пишешь их? — можно было бы с таким же недоумением спросить у Вампилова. — Жизнь жестока, и люди не готовы жить по заповеданным им христианским законам. Их ломают, твои прекраснотушные создания. Посмотри, что дается вокруг». — «А я все равно буду писать их», — подобно Валентине отвечает Вампилов.

По его признанию, сделанному в свое время автору этих строк, несколько дней он чувствовал себя скверно, когда в первой редакции пьесы намеревался привести Валентину к самоубийству после свершенного над нею насилия. Скверно потому, что позволил себе усомниться в своей героине, поверить, что да, сломали. А она отказалась от такого конца, решительно отказалась и еще до того, как автор в раздумье подвинул к себе последнюю страницу, пошла восстанавливать палисадник. Он же испытал стыд, мучительный и счастливый, будто это живая душа, дочь родная, по заложенному в нее им же зерну преподала ему урок мудрости.

Отказался стреляться и Зилов, уже по другим мотивам. В этом случае переговоры с автором, надо полагать, были сложнее. По законам театра предъявленное зрителю ружье должно было выстрелить, а душу свою герой увязил в грязи. У Зилова мог быть только один серьезный довод: «Ты не написал меня отпетым, никчемным и пропащим человеком, о котором, как об отце братьев Карамазовых, напрашивается вопрос: «Зачем живет такой человек?» Ты дал мне ум, совсем не злой, дал способности и обаяние, позволил мне положиться на них». Оставить героя без милости, взять и убить его во имя того, чтобы зритель вздрогнул, Вампилов не решился: что ни говорите, а законы жизни важнее законов искусства. По законам искусства справедливо было бы и то и другое — и жить Зилову, и не жить, в такое «пиковое» он поставил себя положение, но, пользуясь верховным своим правом, автор позволил ему сделать более подходящий для морали выбор.

Критики, принимающие Зилова за по-

ложительного героя, думаю, меряют его на свой аршин, а аршин этот скроен с заведомой поправкой на покосившуюся действительность. Если поместить Зилова в сегодняшний мир, переполненный масштабными негодьями, рядом с ними он в самом деле сойдет за приличную личность. Потому Зилов и непредставим в нынешнем шнырянье одних за куском хлеба, других за куском золота. У него есть гордость. Но у него не осталось в сердце ни любви, ни святости, а это по старым меркам ценилось не слишком дорого. Нерядовая личность, спустившая себя по мелочи, по пустякам. Ссылки на атмосферу, в которой жил Зилов и которая калечила человека, мало серьезные: назовите в современном мире атмосферу, где бы не калечился человек. Валентину не покалечила, Сарафанова тоже. Это говорится не в оправдание старой атмосферы, она, разумеется, могла быть лучше, а во имя беспристрастного удостоверения личности нашего героя, вызывающего споры.

Особенность души и таланта Александра Вампилова в том, что ни над кем из своих персонажей он не произносит последнего приговора. Неверные жены в его комедиях, расчетливые и шумные, вместе с «альфонсами», находящимися у них на содержании, недалекие и честолюбивые мужья, самоотверженные гуляки из командированных, остающиеся без копейки, все они, вольные и невольные слуги греха, — не подсудимые, а выставленные на всеобщее обозрение для публичного прощания. Удивительное перо у сатирика — лирическое, осторожное, бережное, чтобы не навредить ни одному из героев, каким бы он ни был, опекающее до последней сцены и отпускающее с миром: идите, живите и обходите, если сумеете, зло. Ступайте с Богом.

В пьесах Вампилова жизнь бьет полной мерой: там могут и скандалить, и смертельно шутить, и врать напропалую, и не отказывать себе в насилии по отношению к другим, и истово любить... Но то герои... Автор же нигде и никогда не позволит себе грубого слова. Это не

одно и то же — интонация автора и интонация героев. Собственное слово автора, надстоящее над речью его героев, его позицию, «коридор» его жизни в пьесе читатель и зритель интуитивно различают, чаще всего не задумываясь об этом. Вот тут говорит автор, тут герой передает его слова, а тут его роль шире. Герою позволено лгать, а литературному произведению грубить или лгать воспрещается. Современное вызывающее бесстыдство литературы не в счет, оно пройдет, как только читатель потребует к себе уважения.

Вампилов нигде не скажет грубого слова, ни за что не позволит себе сорваться и крикнуть. Это выдержанность чрезвычайно порядочного, умного и доброго мастера, человека, устроенного гармонично и музыкально. Остались воспоминания его друзей о том, как он любил и знал музыку, как и сам играл в оркестрах, как пел песни под гитару. Его музыкальность хорошо видна в письме. Он ведет рассказ с редкой чуткостью к каждому, даже незначительному персонажу, фраза его, чуть ироничная или пусть не чуть ироничная, всегда остается мягкой, серьезное и смешное в ней переливаются, сопровождая жизнь, которая несет утешение.

Ценность всякой литературной работы зависит от того, легче стало от нее человеку или нет. Легче — это устроенней, упорядоченней, разумней. Легче — когда прибывают силы. Силы, силы, веры, веры — вот что больше всего требуется сегодня человеку, чтобы противостоять отчаянию и злу. Талант Вампилова, непритязательный и негромкий, но удивительно глубокий, естественный и обширный, есть собиравание, подобно пчелиному труду, разлитой в миру душевности и чистоты. Возле Вампилова теплее, добрее. Этим теплом греются до сих пор все, кто близко знал Александра Вампилова, оно исходит от его книг, у которых, слава Богу, опять находятся издатели, и оно же дышит со сцены вампиловского театра, начинающего новую жизнь, в которой не будет старения.